Михаил Афанасьевич Булгаков
Пропавший глаз

Записки юного врача – 6

Аннотация

Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

Михаил Булгаков
Пропавший глаз

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний…

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то где-то… где – забыл… об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он – отшельник – встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, – акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади – Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

– Какого ты черта пропиваешь все деньги? – бормотал я на лету Егорычу. – Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

– Какие ж это деньги, – злобно огрызался Егорыч, – за двадцать целковых в месяц муку мученскую принимать… Ах ты, проклятая! – Он бил ногой в землю, как яростный рысак. –

Деньги… тут не то что сапоги, а пить-есть не на что…

– Пить-то тебе – самое главное, – сипел я, задыхаясь, – оттого и шляешься оборванцем…

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

– Не дошла, не дошла, – торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

– Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

– Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять…

– Дурак твой свекор и свинья, – отозвался я.

– Ах, до чего темный народ, – жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но – и тут уже зеркало не было виновато – на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, – подумал я, – десять лет… Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться…»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

– Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде – на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да… бриться три раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на мурьевском необитаемом острове, и время от

времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте… да… ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий… Зачем?.. А так, чтобы не мучиться… «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, – помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, – ништо тебе…» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. – свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях… Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парою коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу… что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет…

Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, а пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенца получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и на восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос – удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне *отстоять* ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил – ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при

взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор – ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться…

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, хотя теперь я понимаю, что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, окончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьевской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть… я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

– Ого-о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть…» – подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою – в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцовокислого калия и велел:

– Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренклод.

«Отделал я солдата на славу», – отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.

– Часа три не ешь ничего, – дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

– Покорнейше вас благодарю, – отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

– Ты, дружок, – жалким голосом сказал я, – ты вот чего… ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне… видишь ли… нужно будет посмотреть… У тебя рядом еще зуб подозрительный… хорошо?

– Благодарим покорнейше, – ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови… Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него – 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды:

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал…»

«Вон оно што!»

Дальше – больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?..»

«Да… я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованьем персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол… бывают ли такие случаи… если кто-нибудь рвет зуб… и челюсть обломает… ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок… я читал…

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

– Это вы ему лунку выломали… Здорово будете зубы рвать… Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидел и не сделал за этот неповторяемый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл! А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но

щипцы, повороты – сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

– Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:

– Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

– Пятнадцать, – ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон…

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь – правда, дрожа – наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

– Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Стационарных у меня было двести, а умерло только шесть.

Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал… Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах… Сон все ближе…

– Я, – пробурчал я, засыпая, – я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик… может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм… пусть… им хорошо… в клиниках, в университетах… в рентгеновских кабинетах… я же здесь… все… и крестьяне не могут жить без меня… Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха… А теперь…

– Когда же это случилось?

– С неделю, батюшка, с неделю, милый… Выперло…

И баба захныкала.

Смотрело серенькое сентябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня стоял в халате и растерянно вглядывался…

Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое… Мозговая грыжа… Гм… он живет… Саркома. Гм… мягковата… Какая-то невиданная, жуткая опухоль… Откуда же она развилась… Из бывшего глаза… А может быть, его никогда и не было… Во всяком случае, сейчас нет…»

– Вот что, – вдохновенно сказал я, – нужно будет вырезать эту штуку…

И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу в стороны и…

«И что… дальше-то что? Может, это действительно из мозга?.. Фу, черт… Мягковато… на мозг похоже…»

– Что резать? – спросила баба, бледнея. – На глазу резать? Нету моего согласия…

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

– Никакого глаза у него нету, – категорически ответил я, – ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль…

– Капелек дайте, – говорила баба в ужасе.

– Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!

– Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?

– Нету у него глаза, говорю тебе…

– А третьего дни был! – отчаянно воскликнула баба.

«Черт!..»

– Не знаю, может, и был… черт… только теперь нету… И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию… Демьян Лукич, а?

– М-да, – глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, – штука невиданная.

– Резать в городе? – спросила баба в ужасе. – Не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями… Черт.

А через два дня младенец был мною забыт.

Прошла неделя.

– Анна Жухова! – крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

– В чем дело? – спросил я привычно.

– Бока закладает, не продохнуть, – сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

– Узнали? – спросила баба насмешливо.

– Постой… постой… да это что… Постой… это тот самый ребенок?

– Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы…

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было и в помине.

«Это что-то колдовское…» – расслабленно подумал я.

Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидал… малюсенький шрамик на слизистой… А-а…

– Мы как выехали от вас тады… он и лопнул…

– Не надо, баба, не рассказывай, – сконфуженно сказал я, – я уже понял…

– А вы говорите, глаза нету… Ишь, вырос. – И баба издевательски хихикнула.

«Понял, черт меня возьми… у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно… а потом как лопнул, гной вытек… и все пришло на место…»

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый… Значит, нужно покорно учиться.